

*Ροζαμονδε, с любовью*

- Τί δὴ παθοῦσα ταῦτ' ἔπραξ' ἀμηχανῶ
- Ἄλλ' ἔστ' ἄμεμπτα πάντα τοῖς συνειδόσιν<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> — Не знаю, что вынудило ее так поступить.

— Но тот, кто знает, вины не обрящет (*др.-греч.*).

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В этом романе столько всего намешано, что даже по здравом размышлении мне не удастся отделить вымысел от реальности. Не имело смысла называть Брэдфилд-колледж вымышленным именем, поскольку общеизвестно, что именно там существует театр, где пьесы античных драматургов исполняются на древнегреческом, равно как и пытаться затушевать тот факт, что в 1958 году Дэвид Рейберн поставил там «Агамемнона». Однако же в постановке не принимали участия ни Алан Десленд, ни Кирстен, постольку они, как мистер и миссис Кук, а также директор Брэдфилд-колледжа и прочие упомянутые в романе ученики и преподаватели — вымышленные персонажи.

Описания Копенгагена и его окрестностей соответствуют действительности, а вот ресторана «Золотой фазан» не существует. Ярл и Ютте Борген и Пер Симонсен — реальные лица, а мистер Хансен и его сотрудники — вымышленные персонажи. Тони Редвуд и мистер Штейнберг вымышлены, тогда как Ли Дюбос — реальная личность. И так далее.

Ньюбери, как и многие английские города, сильно изменился за последние годы, но я описал его *con amore*<sup>1</sup>, таким, каким помню, и, надеюсь, меня простят за некоторые анахронизмы, к примеру за упоминание здания, которого больше нет. В мое время на Нортбрук-стрит находился магазин фарфора, но следует отметить, что ни его владелец — мой давний приятель, — ни его сотрудники не имеют ничего общего с Аланом Деслен-

---

<sup>1</sup> С любовью (*um.*).

дом, миссис Тасуэлл и Дейдрой. История моих героев списана не с них.

Столь многие помогли мне при написании этого романа, что можно собрать целый синдикат. Я сердечно признателен всем, особенно моей дочери Розамонде, Алану Баррету, Ярлу и Ютте Борген, Джону Гесту, Барбаре Григгс, Хельге Йонссон, Дону Лайнбеку, Бобу Лэммингу, Джону Маллету, Дженет Морган, Клэр Ренч, Перу Симонсену, Реджинальду Хэггеру, Бобу Чемберсу и Роберту Эндрюсу.

Я также благодарен моей жене Элизабет за ее неоценимую помощь в истории фарфора и моему секретарю, Дженис Нил, за терпение и тщательность в перепечатке рукописей и во всем остальном.

Скажи, ты любишь с доской качелей  
Взлетать среди ветвей?  
Ах, я уверен, из всех веселий  
Это — всего милей!

Взлечу высоко над оградой,  
Все разом оглянута:  
Увижу речку, и лес, и стадо,  
И всю страну!

Вот сад увижу внизу глубоко,  
И крыши, и карниз,  
На воздух вверх я лечу высоко,  
На воздух вверх и вниз!

*Роберт Луис Стивенсон<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод В. Брюсова.

День выдался ветреный — странная погода для конца июля; ветер взвихривал живые изгороди, будто невидимый прилив — водоросли, тянул их за собой, дергал в одну сторону, выпутывал заросли бузины и бирючины из цепких ветвей терновника, срывал со шпалер плети ломоноса и отрясал с дубов в дальнем конце сада мелкие веточки и листву.

Час назад ветер унесся прочь, но теперь, в вечерних сумерках, видно, как он ерошит деревья на вершине хребта, в четырех милях к югу. На фоне бледных небес сгибаются под его порывами буки на склонах холмов Коттингтон-Кламп, но здесь даже травинка не колыхнется; и тишина — умолкли дрозды, молчат кузнечики, в густых пожелтевших зарослях остролиста еще не проснулись сверчки. В сумерках цвета меняются. Головки огромных георгинов — «Черный монарх» и «Анна Бенедикт» — больше не сияют багрянцем, а покачиваются большими пепельными шарами, будто незажженные светильники, привязанные к шестам.

Леса придвинулись ближе — заросли можжевельника, буки и тисы видны так отчетливо, что кажется, будто брошенный из сада камень долетит до Коттингтон-Кламп. Тем не менее иллюзия приближения легко объясняется естественной причиной: все увеличивается, преломляясь в воздухе, отягощенном дождем. Дождь придет вслед за

ветром, примерно к полуночи, щедро напоит мальвы и лилии, дубовые рощи, пшеницу и ячмень в полях, раскинувшихся за дорогой.

Карин, будто стрекоза, остро чувствовала предстоящие перемены погоды, ветер, дождь и солнце. Дождливими вечерами она распахивала двери в сад, выпускала в дом звуки и запахи свежих струй и тихонько наигрывала на фортепиано что-нибудь протяжное и печальное, под стать плачу серых туч, изливающих грусть на газоны и блестящие от воды ветви, так что когда я иду домой через сад, притихший под летним ливнем, то слышу и песню дрозда, и, вот как сейчас, прелюдию Шопена. А когда я входил в дом, Карин с улыбкой отрывалась от клавиш и распахивала руки величественным приветственным жестом, будто Гера или Деметра, словно бы одновременно благодаря меня за все окружавшие ее дары и приглашая — призывая — принять дар ее объятий. В такие вечера наши сплетенные тела погружались в медлительный, ровный поток наслаждения, неторопливо влекущий их к гавани, и едва ощутимо вздрагивали, одновременно и нежно касаясь берега; а потом возвращались и шорох дождя, и влажные запахи сада, и тени листвы, скользящие по стене, и быстрый серебристый промельк заката.

Как тут не рыдать?

Вчера мне снилось, что меня разбудил странный, еле слышный звук на первом этаже — какой-то звенящий шепот, будто ветер колыхал подвески из цветного стекла, которые в моем детстве развешивали в садах, чтобы отпугивать птиц яркими высверками и хрустальным перезвоном. Мне пригрезилось, что я спустился в гостиную. Дверцы сервантов были распахнуты, но все статуэтки стояли на своих местах: «Холостяцкая жизнь» и «Супружество» мануфактуры «Боу», «Времена года» фабрики Джеймса Нила, «Девушка с коровой» работы Питера Рейнике и она, та

самая — «Девушка на качелях». Звук исходил от них. Они плакали, роняя хрустальные капельки слез. Полки, обитые темно-зеленым сукном, запорошил снег осколков, крошечных, как песчинки. Их острые края обдирали глазурь и роспись статуэток. Обезображенные фигурки были неузнаваемы. Коллекции больше не существовало. Я упал на колени, захлебнувшись криком, как ребенок: «Вернись! Умоляю, вернись!» — и проснулся с лицом, залитым слезами.

Я знал, конечно же, что с коллекцией ничего не случилось, но все равно спустился на первый этаж, будто желая доказать самому себе, что для меня на свете еще есть вещи, ради которых я готов среди ночи пройти двадцать ярдов. Я вытащил из серванта тарелку Копенгагенской королевской фарфоровой фабрики с подглазурным клеймом в виде трех синих волн и сидел, разглядывая волнистые ажурные края с позолотой и веточку французского шиповника, называемого еще «розой мира», нарисованную в те годы, когда Моцарту было чуть больше двадцати, а до того, как Наполеон отправил полумиллионную армию в русские снега, оставалось еще тридцать лет. Разумеется, хрупкая вещица не имела никакого отношения к разгрому наполеоновских войск, а теперь уцелела и в моей личной катастрофе. За этим занятием я провел примерно час и с первыми лучами солнца отправился спать.

Не могу сказать, что я всю жизнь любил фарфор и керамику, но даже в детстве, приходя в магазин, черпал бессознательное наслаждение в изобилии красивых ярких предметов, которые нравились мне больше игрушек: дамы, кавалеры и всевозможные звери, хрустальные графины и бокалы, столовые сервизы из сорока двух предметов — Сюзи Купер или веджвудовский «Строберри-хилл», хотя в то время я, конечно же, еще не знал этих имен. Скорее всего, думал я, корова с клеймом Госса или рокингемский олень сбежали с какого-то волшебного ковчега, полного

чудесных фарфоровых зверей; помнится, однажды, после долгих бесплодных попыток его отыскать, я спросил старую мисс Ли, где его прячут.

— Ковчег больше не нужен, мастер Алан, — ответила она. — Потоп давно закончился, и Господь обещал, что такого больше не повторится. Никогда, вот увидишь.

— А ведь... — Я только хотел объяснить, что существуют игрушечные ковчегии для игрушечных, деревянных зверей, но мисс Ли велела мне вести себя примерно и ни к чему не прикасаться, а сама ушла обслуживать какого-то важного посетителя в меховой шубе.

Как я интуитивно сознавал, запрет «ни к чему не прикасайся» следовало соблюдать неукоснительно, однако же это не огорчало меня, а вызывало невольное восхищение, свидетельствуя о высокой ценности заманчивых вещей. Я не раз слышал, как взрослых — настоящих покупателей — вежливо просили ничего не трогать, а однажды маменька едва не расплакалась, нечаянно отбив краешек цветка на крышке фарфоровой шкатулки со своего туалетного столика. «Ее наверняка можно починить, милый», — сказала маменька, хотя я ее ни о чем таком не спрашивал, а потом аккуратно собрала мельчайшие осколки в бумажный конверт. Вдобавок я так же неосознанно понимал, что мы живем на выручку от продажи этих драгоценных, хрупких предметов. В отличие от других магазинов и лавок, в нашем магазине витал чистый свежий аромат — запах деревянных упаковочных ящичков, стружки и опилок; здесь было тихо и светло, а по полу, выложенному керамической плиткой, звонко стучали каблучки — цок-цок, цок-цок, — когда мисс Ли или мисс Флиттер уверенно направлялись за каким-нибудь кувшином или чайником, точно зная, где его искать. «Прошу вас, пройдите сюда, пожалуйста, моему, то, что вам нужно, есть у нас в пассаже». Пассаж — не просто проход или коридор — был частью магазина:



под стеклянной крышей, разделенные панелями матового стекла, вдоль стен тянулись полки, в пять рядов, до самого потолка, а на них стояли чашки, блюдца, тарелки, кувшины, соусники, чайники и поилки для домашних животных, каждая строго на своем месте. Стену пассажа увивали стебли плюща, наполовину затенявшие крышу, в самом конце прохода был крошечный сад, где росли папоротники, а дальше, за зеленой дверью, начинался склад. Я смутно помню старомодный кассовый аппарат за стеклянной перегородкой, на тумбе красного дерева, но от него избавились, когда мне было года три или четыре.

Как мне сейчас представляется, я, особо не задумываясь, гордился магазином на Нортбрук-стрит за его необычность, чистоту и мириады тускло сверкающих предметов, которые полагал драгоценными просто потому, что они были невероятно хрупкими. Однако же магазин сформировал лишь малую толику моих детских впечатлений. Я приходил туда редко, потому что жили мы не «над лавкой», а в Уош-Коммон, тогда еще деревушке в миле к югу от Ньюбери, на склоне холма над городом и долиной реки Кеннет. Наш дом — фахверковый, с двускатной черепичной крышей — носил имя Булл-Бэнкс, данное ему первым владельцем, который был знаком с Беатрикс Поттер и питал к ней огромное уважение не только, как мне однажды объяснили, из-за ее литературных талантов, но и за то, что она являла собой редкий пример по-настоящему независимой женщины. В этом доме я провел все детство и другого не желал.

Теплыми ночами, когда настезь распахивали окна, я лежал без сна в постели, прислушиваясь к далеким гудкам паровозов, подъезжающих к железнодорожной станции Ньюбери, и к еле слышному звону часов на городской ратуше. В июне в спальню прокрадывались ароматы азалий и левкоя и, покружив по комнате, улетали прочь. Иногда

залетный комар давал повод привлечь родительское внимание после того, как выключали свет: «Маменька, тут жужжака-кусака!» А можно было, презрев засилье назойливой мошкары, вылезти из кровати и высунуться в окно, разглядывая очертания холмов Коттингтон-Клампа на дальнем горизонте, или дожидаться, когда у леса, над копнами сена на опушке беззвучно скользнет сова. В августе слева всходила огромная полная луна, затянутая туманной дымкой, желто-оранжевая, как головка глостерского сыра, выкатывалась из-за дубовой рощи, постепенно наливаясь серебром, и озаряла снопы на жнивье по ту сторону дороги.

Зелеными мартовскими вечерами с вершин белых берез на краю газона нестройно кричали дрозды. Отец часто их отчитывал: «Да слышу я вас, слышу! Фу, как некультурно, вам лишь бы глотки драть. Вот черные дрозды — те поют». Огромный заросший сад был полон птиц, за которыми отец следил круглый год. Летом он сидел на газоне в складном кресле, для виду раскрывал на коленях газету и с наслаждением смотрел и слушал. «Где-то там, в кустах, — пёночка-весничка, — говорил он, когда я приходил звать его на ужин. — Видеть — не вижу, а слышно хорошо». И учил меня, как отличать характерный нисходящий тон ее трелей. Биноклем он не пользовался, но иногда надевал очки и тихонько подкрадывался поближе, заметив поползния на стволе или пищуху в соснах за рододендронами. «Учись распознавать птиц по их повадкам, мальчик мой, потому что этих плутишек очень трудно рассмотреть, особенно когда глядишь против света». Он огорчался, заметив, что снегири выклеивают почки на старой сливе, но никогда не сгонял птиц с дерева.

Мы с сестрой — она на три года меня старше — развлекались на кустах косточки для синиц, разбрасывали хлебные корки и свиные шкурки для скворцов и трясогузок, которые после дождя прыгали среди луж на газоне. Однажды

в застекленную раму на веранде врезался на лету малый пестрый дятел — очень редкая птица — и через минуту умер в ладонях отца. Пять лет я проучился в Брэдфилд-колледже и каждый год, в конце марта, получал открытку от отца с лаконичным извещением: «Сегодня слышал пещочку-теньковку».

По слухам — так, во всяком случае, утверждал Томас Хьюз, а за ним повторяют и другие, — чтобы выжить в английской частной школе, надо уметь за себя постоять, однако я ничего подобного не заметил. Оба директора Брэдфилд-колледжа (на втором году моего обучения директор сменился) были людьми гуманными и не полагались на строгую дисциплину, чем задавали тон и преподавателям, и ученикам. Впрочем, по-моему, мальчишкам свойственно уважать постоянство в отношениях, а вдобавок они обладают естественным умением подлаживаться под окружающих. Безусловно, дерзкий юнец с завышенным самомнением вынужден либо доказывать свое превосходство, либо смиряться со всеобщей неприязнью. А того, кто не выдвигает никаких претензий, считается с общепринятыми условностями и счастлив жить, ничем не выделяясь, оставляют в покое, и такому ученику не требуется иной защиты, кроме врожденного чувства собственного достоинства. Во всяком случае, именно так и было со мной. Я провел в школе пять спокойных, ничем не примечательных лет, обзавелся парой друзей, но не испытывал особого желания поддерживать с ними отношения после окончания учебы. Очевидно, они питали ко мне те же самые чувства. Сейчас я понимаю, что мне недоставало теплоты и умения задевать сердца других, да я и не стремился к этому, а просто принимал людей такими, какие они есть.

Во время летнего триместра Брэдфилд-колледж три раза в неделю предоставлял ученикам полдня свободного времени. По окончании второго года обучения игра в крикет

была необязательной, что позволяло мне гулять по окрестностям, на велосипеде или пешком. Одинокие прогулки мне нравились, и, чтобы заручиться официальным одобрением преподавателей, я начал фотографировать цветы и птиц. Однажды мои работы удостоились приза ежегодной школьной выставки; помнится, удачный снимок цапли, подлетающей к гнезду, хвалили многие учителя. Я был равнодушен к атлетическим состязаниям и не испытывал особой склонности к спорту, однако получил знак отличия за фехтование. Сабля меня не прельщала, а вот рапира и шпага, требующие отточенной сноровки, доставляли огромное удовольствие. Противник, скрытый маской, не столько враждебный, сколько принимающий вызов, четверка бдительных арбитров, металлический шорох и звон клинков, внезапный резкий крик «*Halte!*»<sup>1</sup>, за которым следует подробный разбор боя и его оценка, — все эти торжественные ритуалы заключали в себе все, чем для меня являлся истинный спорт.

Любил я и плавание, опять же не соревнования, а неспешные заплывы в одиночку, когда ритмичные движения в воде напоминают прогулочный шаг. Летом я часто вставал в шесть утра, гулял в пойме реки, а потом с удовольствием проплывал полмили в купальнях, где еще никого не было; к всплескам воды не примешивались никакие посторонние звуки, и ничто не мешало сосредоточенным гребкам и размеренному дыханию пловца. Выходя из воды, я иногда воображал, что сделал, точнее, сотворил заплыв, будто некий осязаемый предмет, сродни замысловатой резной безделушке или картине, и теперь он занимает место в моем личном пантеоне. Еще я научился неплохо играть в шахматы, а вот бридж меня совершенно не привлекал, будучи игрой интеллектуальной, но командной.

---

<sup>1</sup> «Стоп!» (фр.)

Иными словами, в Брэдфилд-колледже я усиленно постигал науку быть никем и не стремился, в силу природной застенчивости, как-то выделиться среди одноклассников. Более того, я отверг единственную возможность заявить о своем необычном таланте.

А случилось это так. К концу третьего года обучения, то есть когда мне исполнилось шестнадцать и я, сдав за год до того экзамены по курсу средней школы, начал углубленное изучение иностранных языков, один из младших преподавателей естествознания, некий мистер Кук, объявил, что набирает добровольцев для проведения ряда опытов, связанных с исследованиями паранормальных явлений и экстрасенсорного восприятия. Разумеется, желающих оказалось много, но мистер Кук почти всех забраковал — не столько подозревая в них обманщиков, сколько боясь, что излишний энтузиазм помешает проводить исследования строго научным путем. Он искал людей флегматичных и рассудительных, тех, кто не станет изображать из себя героя, если вдруг произойдет нечто необычное.

Хотя официально моим основным предметом теперь значились иностранные языки, в свободное время я по-прежнему увлекался естествознанием. Тем не менее мне не пришло в голову предложить свою кандидатуру для экспериментов мистера Кука. Он сам обратился ко мне после лабораторных занятий и, что называется, начал выкручивать мне руки. «Мне нужны спокойные, невозмутимые люди, — заявил он. — Вот такие, как вы, Десленд». Поскольку его предложение звучало вполне невинно и никаких подозрений не вызывало, я согласился, хотя и без особого энтузиазма.

Самих экспериментов — карточек с номерами, игральными костями и тому подобного — я почти не помню. Помоему, ничего путного из них не вышло. Кроме того, мистер Кук неохотно говорил о результатах, как врач, который

внимательно выслушивает пациентов, дотошно расспрашивает их о симптомах заболевания, но не выказывает никакой реакции на их ответы. Может быть, директор школы просил его не поощрять излишних восторгов и прочих «глупостей». Как бы то ни было, все это мне вскоре прискучило, но однажды в пятницу мистер Кук пригласил меня и мальчика по фамилии Шарп, из соседнего корпуса, к себе домой, на субботний обед.

Молодая жена мистера Кука, очаровательная хлопотунья, предмет неустанного восхищения старшекласников, вкусно накормила нас и всячески обхаживала. Пока она убирала со стола, мистер Кук поддерживал непринужденный разговор и, дождавшись, когда жена снова к нам присоединилась, объяснил, что позвал нас, чтобы провести несколько экспериментов особого рода.

— Не знаю, известно ли вам, но некоторые ученые считают, что существуют люди, способные к экстрасенсорному восприятию, пока не объясненному наукой, — пояснил он, — которое с особенной силой проявляется при взаимодействии с чем-то злоеющим или опасным для жизни — иными словами, со злом. Своего рода ясновидение, как у шотландцев или валлийцев.

Он долго рассказывал нам, как в восемнадцатом веке некий «провидец убийств» помог властям задержать в Марселе двух злодеев, совершивших преступление в Париже. В сущности, это все, что я запомнил из рассказа мистера Кука, поскольку меня это совершенно не интересовало.

— Не волнуйтесь, я не собираюсь проверять, сможете ли вы «предугадать» убийцу, — с улыбкой заключил мистер Кук. — Я хочу провести абсолютно безопасный эксперимент. Десленд, подождите, пожалуйста, в соседней комнате, а мы поработаем с мастером Шарпом.

Минут через десять Шарп заглянул в дверь и сказал, что пришла моя очередь. Я вопросительно изогнул бровь, и он прошептал:

— Глупости все это. Зато поели вкусно. И с милашкой Кук повидались.

Мы вернулись в гостиную, где я сразу же заметил на столе пять одинаковых пробирок, до половины заполненных прозрачной жидкостью. Мистер Кук прочел ставшее привычным наставление о том, что надо подавить волю и ни о чем не думать и так далее, а потом сказал:

— Десленд, в четырех пробирках обычная вода, а в одной — серная кислота. Моя жена попробует жидкость из каждой пробирки по очереди. Ни ей, ни вам не известно, в какую пробирку что налито. Остановите ее, если почувствуете, что она берет пробирку с кислотой. Не бойтесь: если вы этого не сделаете, ее остановлю я.

В ходе эксперимента не произошло ничего необычного. У меня не возникло никаких предчувствий, я не воображал, как миссис Кук корчится в судорогах. Она налила в стакан жидкость из первой пробирки и выпила ее; когда она взялась за вторую, у меня появилось смутное, но неотвязное ощущение, что эту жидкость лучше не пить; примерно так же осознаешь, что лучше не открывать окно, если на улице хлещет дождь, или что лучше не ставить горячее блюдо на полированный стол. Я неуверенно помахал рукой и произнес:

— Э-э...

— Верно, — немедленно подтвердил мистер Кук. — А теперь скажите, Десленд, какие мысли у вас при этом возникли?

— Никаких, сэр, — ответил я. — Просто... ну, ничего. Честное слово.

— А там действительно серная кислота, сэр? — спросил Шарп.

Мистер Кук оторвал полоску синей лакмусовой бумаги и окунул ее в пробирку. Полоска сразу же покраснела.

— Давайте еще раз попробуем, Десленд? — предложил мистер Кук.

Случившееся не доставило мне ни радости, ни удовлетворения; я уже обдумывал, как убедить Шарпа не болтать об этом в школе. Отказываться было невежливо. Я снова вышел из гостиной, а мистер Кук занялся пробирками.

Повторять эксперимент было еще скучнее. Я сидел, ни о чем не думая, и любовался миссис Кук, которая то и дело наклонялась к пробиркам. Станным образом я вообще забыл, зачем мы все это затеяли, и вспомнил, в чем дело, только когда она отпила глоток жидкости из пятой, последней пробирки. Наверное, я заметно встревожился, потому что мистер Кук поспешно вскочил и положил мне руку на плечо.

— Ничего страшного, — сказал он. — На этот раз вода была во всех пробирках. Я тайком изменил условия эксперимента, но вас — или некое ваше чувство — обмануть не удалось. Очень любопытно, Десленд. А сейчас вы можете объяснить, какие мысли у вас возникли?

— Нет, *не могу*, сэр, — с нажимом ответил я; слова прозвучали слишком резко. — С вашего позволения, давайте на этом остановимся.

Я смутно ощутил, во-первых, необъяснимую тревогу, а во-вторых, то, что у мистера Кука не было, скажем так, морального права меня заставлять; сам того не подозревая, он действовал легкомысленно, из эгоистичных побуждений. Для него это был простой эксперимент. А мне, по какой-то непонятной причине, совершенно не хотелось принимать дальнейшего участия в происходящем.

Наступило неловкое молчание. Мистер Кук растерялся. Тогда миссис Кук решила взять дело в свои руки. Она встала, подошла ко мне и нежно потрогала мне лоб.

— Десленд, как вы себя чувствуете? — спросила она. — Не волнуйтесь, ничего страшного не случилось. Это достаточно распространенное явление, которое в один прекрасный день наука сможет объяснить. Не бойтесь.



Моей щеки коснулась мягкая упругая грудь (как сейчас помню, на миссис Кук был голубой джемпер из тонкого кашемира); я вдохнул теплый, женственный аромат — душистое мыло и еле заметный запах свежего пота — и, как любой мальчишка на моем месте, отреагировал спонтанной эрекцией. Сгорая от стыда, я вскочил со стула, закашлялся, торопливо сунул руку в карман, как мог привел себя в порядок, достал носовой платок и демонстративно высморкался.

Миссис Кук с улыбкой взглянула мне в глаза, словно мы с ней были наедине.

— Давайте проведем еще один эксперимент, а, Десленд? Ради меня? — попросила она. — Только не этот, а другой. Разумеется, я не настаиваю, но мне очень хотелось бы...

Тут я окончательно убедился, что движущей силой этой затеи была миссис Кук, а мистер Кук, которого паранормальное интересовало в меньшей мере, просто исполнял ее волю. Мне также стало ясно, хотя я и не мог облечь это в слова, что миссис Кук кокетничает со мной намеренно, чтобы добиться своего. Мне было очень неловко: с одной стороны, ее внимание льстило и возбуждало, поскольку ничего подобного мне прежде испытывать не доводилось, а с другой — меня терзало смутное подозрение, что, хотя ее интерес к паранормальному не выглядит ни легкомысленным, ни праздным, она все-таки не имеет права меня в это втягивать, поскольку ни она, ни я не имеем ни малейшего представления, к чему это может привести. Разница между нами заключалась лишь в том, что я нервничал и боялся, а она — нет. По привычке она вела себя как капризный ребенок или как восточная принцесса, которая для того, чтобы позабавиться, приказывает юному вельможе исполнить нечто опасное.

Разумеется, я согласился (ничего другого мне не оставалось), и она начала рассказывать мне о странном умении

профессора Гилберта Мюррея — по словам миссис Кук, он прибегал к нему только для развлечения — определять предмет или идею, загаданную его родными или друзьями в его отсутствие. Естественно, такое занятие выглядело менее зловещим, чем глоток серной кислоты, и я в третий раз вышел из гостиной, чтобы остальные договорились о загаданном предмете.

Эксперимент проходил в ледящей атмосфере. Я понятия не имел, как надо выполнять поставленную передо мной задачу: то ли смотреть в глаза остальным, стараясь отыскать некое «послание», то ли уставиться в пол и ждать, пока меня озарит вдохновение; надо ли высказывать мысли вслух и, может быть, уловить какой-то намек, или лучше стоять безмолвно, словно бы погрузившись в транс, надеясь, что в сознании мелькнет нужный ответ. Ничего не вышло. Помнится, первым загаданным словом было «нарциссы»; второе слово улетучилось у меня из памяти. Я с неймой мольбой взглянул на Шарпа, но тут миссис Кук предложила сделать еще одну, последнюю попытку.

На этот раз я вернулся в комнату, чувствуя себя полным дураком, но в общем успокоился и расслабился. Слава богу, глупая затея не удалась, и теперь меня оставят в покое. Наверное, я еще успею минут двадцать посидеть с удочкой на берегу речки Пэнг, а потом пойду на ужин в школьную столовую (общешкольные трапезы были обязательными, вне зависимости от приглашений отобедать или отужинать с одним из преподавателей). Усаживаясь на стул, я мельком взглянул в окно, где в недавно вскопанной прямоугольной клумбе торчала забытая садовая вилка. Непонятно почему, но я не мог оторвать от нее глаз. Сначала я рассматривал ее, будто щегла в зарослях дрока или жука на дерне, то есть вилка стала объектом, полностью поглотившим мое внимание, и я старался разглядеть ее в мельчайших подробностях. Затем меня обволокла

липкая пелена отвращения и страха, обмотала плотным коконом, как складками рухнувшей палатки. Мои ощущения в этот момент были сродни тому, что во время войны ощущает женщина при виде почтальона с телеграммой: она провожает его вдоль улицы любопытным взглядом, но, как только он приближается к дому, внезапно осознает, что это означает. Мне казалось, что я остался один-одинешенек, а меня окружает безмолвие. Безобидная садовая вилка превратилась в нечто ужасное, тошнотворное, зловредное. Я совершенно точно знал, что в землю зарыты тела невинно убиенных жертв, и от этих злодеяний меркнет солнечный свет, чахнут цветы, рассыпается в прах миссис Кук с ее соблазнительной грудью и прохладными ладонями. Черви, алчные могильные черви, склизкие и верткие, набиваются мне в рот. Внезапно я четко и ясно увидел, что мир уныл и мрачен, что он — всего-навсего убогая, гадкая свалка и его обитатели обречены вечно мучить друг друга, беспричинно и бесцельно, ради того чтобы бессмысленно наслаждаться своей жестокостью. В этом порочном Эдеме обитало мерзкое подобие Адама, само имя которого было язвительной издевкой над Божественным целомудрием и милосердием. Только теперь мне стало ясно, что все эти воображаемые добродетели — ложь и обман, они нужны для того, чтобы завлечь наивных дев, таких как миссис Кук, а потом задушить, осквернить и зарыть в землю; имя это-му мерзкому подобию...

Я упал на пол, и меня стошнило на ковер. Задышавшись, я корчился в судорогах, выкрикивая:

— Кристи! Кристи!

Мистер Кук показал себя молодцом. Он тут же поднял меня и вывел на свежий воздух, утирая каким-то полотенцем или салфеткой, которую на ходу прихватил в коридоре.

— Десленд, возьмите себя в руки! — Он сорвал веточку крестовника и поднес растертые, остро пахнущие листья

мне к носу. — Сколько там телеграфных проводов? Ну, считай вслух!

Меня бил озноб, зубы стучали, но я послушно сосчитал.

Когда мы вернулись в дом, Шарп уже ушел, а миссис Кук все прибрала. Заметно было, что она плакала.

— Простите, Десленд, — сказала она. — Простите меня, пожалуйста.

Я озадаченно посмотрел на нее, потому что, как свойственно шестнадцатилетним подросткам, сам чувствовал себя виноватым. Это я веселье прогнал и всех смутил расстройством странным. Ну, я попытался сказать что-то в этом роде, точнее не помню. Я прополоскал рот, умылся теплой водой с дезинфицирующим средством, и мы с мистером Куком отправились в школу.

Немного погодя я спросил:

— А это... ну, это то, о чем вы все думали, сэр?

— Да, — резко ответил мистер Кук, явно желая сменить тему. — Это я виноват.

(Как я хорошо знал, виноват был не он.)

Он сорвал колосок лисохвостника, с полминуты жевал кончик, а потом сказал:

— Десленд, судя по всему, вы наделены неким... даром, или умением, или чем-то в этом роде. Я вам очень советую о нем забыть. Ни в коем случае не пытайтесь им воспользоваться, понимаете? Послушайте, я должен попросить у вас прощения за то, что втянул вас в это дело. Шарп дал слово моей жене, что будет молчать, и вам хорошо бы последовать его примеру. И на этом закончим. Разумеется, от меня никто не узнает о случившемся.

Я был ему очень благодарен. Мне не приходило в голову, что если бы о происшедшем узнали мои родители и директор школы, то в первую очередь досталось бы мистеру Куку, а не мне. Не подозревал я и того, что могу весьма

осложнить ему жизнь, поэтому с готовностью пообещал молчать.

Однако же полностью скрыть случившееся не удалось. Меня мучило, голова кружилась, озноб не прекращался. После ужина я пошел к медсестре, но, кроме пониженной температуры, никаких признаков недомогания не обнаружилось. Весь следующий день я провел в постели, а медсестра строго отчитала меня за то, что я промочил ноги на рыбалке. Это объяснение показалось мне очень удобным, и я повторял его тем своим одноклассникам, которые озаботились справиться о моем здоровье. Вскоре выяснилось, что Шарп все-таки проболтался, потому что через пару дней Мортон, староста соседнего корпуса (он со мной никогда прежде не заговаривал), остановил меня у столовой и спросил:

— Десленд, а что за истерику ты устроил у Кука в гостиной?

Я уже думал о случившемся как о неприятном и весьма прискорбном происшествии, о котором, к счастью, никто не знал — как если бы я взял без спросу и случайно сломал авторучку или теннисную ракетку, но ее хозяин по доброте душевной предпочел бы об этом не упоминать. Нужно было придумать для Мортоня мало-мальски вменяемое объяснение (старосте корпуса не скажешь: «Отвали, не твое дело»), поэтому я с притворным удивлением произнес:

— Не понимаю, о чем ты.

— Еще как понимаешь, — не отставал он. — Давай рассказывай.

И тут меня осенило.

— Да Кук выдумывает какую-то чепуху. Ему очень хочется доказать, что все те, кто принимает участие в его экспериментах, либо экстрасенсы, либо телепаты, либо не пойми кто. Все это пустая трата времени.